

## Глава VI

*Белинский в Петербурге. – Приезд Бакунина. – Его посещения. – Переезд Белинского на Петербургскую сторону. – Приезд Каткова, остановившегося у меня. – Наши занятия и гулянья. – Перевод «Путеводителя в пустыне» Купера. – Ссора Каткова с Бакуниным у Белинского. – Толки о дуэли. – Книгопродавец Поляков. – Отъезд Бакунина и Каткова за границу. – К. Аксаков в Петербурге проездом за границу. – Полтора года страдальческой жизни Кетчера в Петербурге.*

Белинский, как уже известно моим читателям, остановился у меня на квартире. Через час после нашего приезда мы сидели у г. Краевского.

Г. Краевский, казалось, был очень доволен нашим приездом. Довольство выражается у него обыкновенно грубоватой любезностью и тупыми шуточками. Белинский передал ему о том, какие капитальные статьи он замышляет для «Отечественных записок». Г. Краевский одобрял планы Белинского, не без удовольствия улыбаясь, и поддакивал нам во всем с особенною мягкостью в голосе, причем иногда пускался в кое-какие рассуждения о литературе собственно для того, чтобы зарекомендовать Белинскому свое глубокомыслие.

\* \* \*

Белинский тотчас принялся за свою вторую большую статью о «Бородинской годовщине», появившуюся в декабрьской книжке «Отечественных записок» 1839 года, и вслед за тем за «Менцеля»...

Приезд Бакунина в Петербург зимою 1840 года очень обрадовал Белинского. Бакунин заходил к нам почти всякий день и, исполненный монархического экстаза по Гегелю, рассказывал нам различные анекдоты об императоре, которые сообщались ему флигель – адъютантом Глазенапом, и возводил их в апофеозы... Сомневаться в гении Николая Павловича считалось признаком невежества. Мне казалось все это несколько странным, однако и я, по авторитету Белинского и Бакунина, настраивал себя на благоговейное восхищение монархом...

Мы только и делали, что пересказывали нашим приятелям августейшие слова, речи и поступки, сообщаемые нам Бакуниным, восторгались, умилялись и с жаром оглашали воздух стихами:

О чем шумите вы, народные витии?  
Зачем анафемой грозите вы России?..  
...Иль мало нас? или от Перми до Тавриды...  
От потрясенного Кремля  
До стен недвижимого Китая,  
Стальной щетиною сверкая,  
Не встанет русская земля?

и так далее.

Бакунин оставался в Петербурге, все время в таком настроении, до весны 1840 года. Белинский переехал от меня ранней весной на Большой проспект Петербургской стороны, в видах экономии, и с любовью занялся устройством своего хозяйства и квартиры. Я переехал почти в то же время к Пяти углам, в дом Пшеницыной, который впоследствии Катков называл «кораблем Пшеницына»...

В апреле я получил от Каткова письмо, в котором он уведомлял меня, что намерен ехать за границу и перед этим прожить несколько времени в Петербурге. Я приглашал его остановиться у меня. Перед этим Катков прислал нам свой перевод шекспирового «Ромео и Юлии», который был продан нами книгопродавцу Полякову, бывшему тогда издателем «Пантеона». Деньги должны были быть заплаченными по напечатании перевода.

Катков был уже деятельным сотрудником «Отечественных записок». Несколько статей его было напечатано в библиографии; он готовил несколько больших критических статей и между прочим статью о Сарре Толстой, от которой был тогда в восторге весь кружок...

В неустоявшейся еще молодости Каткова было в это время много смешного и дикого. Его статьи и он сам были исполнены претензий; он смешивал фразу с делом, раздражение пленных мыслей принимал за серьезный труд; рисовался и в жизни и в статьях и доводил свою самоуверенность до заносчивости.

Когда я вспоминаю о Каткове, он до сих пор представляется мне почему-то не иначе, как с несколько прищуренными глазками, с сложенными на груди руками, декламирующий стихотворение Фрейлихграта и повторяющий с легким завыванием:

Capitano! Capitano!..

или декламирующий свой прекрасный перевод гейневского «Французского гренадера»:

\* \* \*

Какое мне дело! пускай поджидают...  
Бросаю детей и жену,  
Голодную смертью пускай умирают:  
В плену император! в плену!..

Катков был тогда очень молод, и его молодость проявлялась в нем странными фантазиями. Раз как-то захотелось ему итти непременно в погребок и провести там вечер, как это делывал в Берлине знаменитый Гофман, которым все мы сильно увлекались в то время.

Катков предложил мне это.

– Да ведь здесь, Михайло Никифорыч, нет таких погребков, как в Германии, – возразил я: – здесь берут только вино в погребках, а не распивают его там... Если вы хотите, я пошлю за вином...

– Нет, я хочу непременно пить в погребеке.

– Да коли это здесь не водится?

– Отчего не водится? Это вздор! Если не водится, так мы введем это в обычай... Я знаю, почему вам не хочется: вы боитесь унизить этим свое достоинство... – и разгорячась более и более, Катков начал нападать по этому поводу на различные дворянские предрассудки и нелепые приличия, которыми я, по его мнению, был заражен.

– Так вы решительно не хотите итти со мною? – спросил он в заключение, складывая торжественно руки и щуря глазки.

– Решительно нет.

– Ну, так я пойду один.

Катков взялся было уже за шляпу, но потом отложил свое намерение.

Дня два после этого он дулся на меня...

В другой раз мы отправились с ним, с Белинским, с Бакуниным, с Языковым и еще не помню с кем-то из наших приятелей на биржу есть устрицы, до которых Белинский был страстный охотник.

Все запивали устрицы портером, но Катков потребовал какого-то крепчайшего вина, уверяя, что устрицы обыкновенно пьют с этим вином – и один выпил всю бутылку.

Когда мы окончили наш завтрак и вышли на улицу, вино мгновенно обнаружило свое действие над Катковым: он, ни слова не говоря нам, пустился бежать от нас. Мы уговаривали его остановиться, хотели удержать его, но он вырвался от нас и скоро исчез.

Все остальные из биржи зашли ко мне. Прошло часа три, мы сели уже за чай, но Катков не являлся. Это уже начинало беспокоить нас, тем более, что горничная моей жены сказала нам, что видела его на Семеновском мосту, что он стоял со сложенными руками посередине моста, что все экипажи объезжали его и что около него собралась даже толпа...

Каткова мы так и не видели в этот вечер.

На другой день Языков, живший с своей сестрою, передал нам, что Катков заходил к нему и звонил так сильно, что оборвал звонок и перепугал сестру его.

– Неужели? – вскрикнул, вспыхивая, смущенный Катков, – а я, клянусь вам, и не помню, заходил ли я к вам. Бога ради, извините меня.

Такие вспышки веселья и разгула бывали, впрочем, у него редко; большую часть времени Катков проводил в постоянном усиленном труде, который, кроме его внутренней потребности, был необходим ему потому, что этим трудом он должен был содержать не только себя, но свою старуху-мать и брата, который тогда приготавливался к университету.

Средства к существованию Каткова основывались в это время единственно на сотрудничестве в «Отечественных записках». Г. Краевский платил ему с трудом за его критические статьи по 100 рублей ассигнациями за лист, если я не ошибаюсь. Положение г. Краевского в первые три года издания «Отечественных записок» было затруднительно: журнал не окупался, долг возрастал. Многие из московских друзей Белинского работали для «Отечественных записок» *con amore*, бесплатно, стараясь поддерживать журнал, в котором участвовал он. Белинский привлек в «Отечественные записки» вместе с собою всю талантливую и горячую московскую молодежь. Он одушевлял, оживлял и подстрекал всех к труду...

Незадолго до приезда Каткова в Петербург я прочел только что изданный во французском переводе роман Купера: «Путеводитель в пустыне» (*Le Lac Ontario*). Роман этот произвел на меня сильное впечатление, и я рассказал содержание его Белинскому.

– Его надобно непременно перевести для «Отечественных записок», – сказал Белинский, – и скорей, чтобы кто-нибудь не перебил.

Каткову «Путеводитель в пустыне» также нравился, и Белинский упросил нас переводить его вместе. Катков взял на себя перевод двух первых, а я двух последних частей; Катков переводил с английского, я с французского. Г. Краевский объявил нам, что за перевод деньгами он платить не может, а отпечатает нам 200 отдельных экземпляров, которые мы можем продать в свою пользу. Мы согласились на это условие и принялись за труд с жаром. Целые вечера за одним столом на корабле Пшеницыне мы просиживали над этим переводом.

Через месяц по отпечатании его в журнале мне были доставлены 200 условленных экземпляров, которыми мы могли, впрочем, распорядиться не прежде полугода.

Г. Юнгмейстер только что открыл тогда книжный магазин, и я продал ему наши экземпляры за 700 рублей ассигнациями, то есть по 3 руб. 50 коп. асе. за экземпляр. Г. Юнгмейстер говорил мне впоследствии, что он бросил эти деньги даром, потому что продал только 2 экземпляра! С год назад тому мне понадобился наш перевод... Я не мог отыскать его, однако, ни в одной книжной лавке (не исключая и лавки г. Юнгмейстера), даже не нашел его на Толкучем. Куда же девался этот бедный «Путеводитель», или г. Юнгмейстер сжег его?..

Перед этим весь наш кружок был в сильном волнении, и вот по какой причине. Через два месяца после переезда Белинского на новую квартиру в одно утро у него сошлись Катков и Бакунин. По обыкновению, начались рассуждения о разных философских вопросах. Катков вступил в спор с Бакуниным; спорящие никогда, кажется, не питали друг к другу особенного расположения, и потому спор с самого начала принял желчный и колкий оттенок, доведший спорящих до того, что они потребовали удовлетворения друг у друга.

Катков не без эффекта сообщил мне об этом и просил меня быть его секундантом... Я согласился не без страха... Несколько дней Катков был торжественно мрачен, щурил глаза более обыкновенного, чаще складывал руки по-наполеоновски, заводил речь о смерти и т. д. Белинский сначала встревожился этим происшествием... Наконец, по долгом размышлении и после многих переговоров, решено было отложить дуэль до Берлина, чтобы не подвергнуться строгости отечественных законов и не воспрепятствовать решенной обоими ими поездке за границу...

Бакунин уехал несколькими месяцами ранее Каткова.

Катков поневоле откладывал свою поездку, потому что рассчитывал на деньги, следуемые ему от книгопродавца Полякова за перевод «Ромео и Юлии». Он полагал, что с этими деньгами и с прибавкою к ним незначительной суммы (не более, впрочем, ста рублей ассигнациями), бывшей у него, он может доехать до Берлина и прожить еще там несколько времени до новых ресурсов, имевшихся у него в виду. Но книгопродавец Поляков, ухмыляясь, изгибаясь и извиваясь перед Катковым, каждый день клялся ему, что он заплатит завтра. Таким образом прошло более месяца. Катков вышел из терпения и взял билет на пароход... Он объявил об этом Полякову и сказал, что долее терпеть не намерен...

– Будьте уверены-с, Михайло Никифорыч-с, – отвечал Поляков, – клянусь вам всем священным-с; вы можете назвать меня подлецом-с в глаза, если завтра в 10 часов утра я не доставлю вам всей суммы сполна-с, новенькими-с, ассигнация к ассигнации-с, на подбор-с, ей-богу-с.

Это было накануне отъезда Каткова. Мы прождали Полякова до часу и отправились к нему в лавку. Катков был вне себя...

Поляков хотел было скрыться от нас, но мы поймали его за фалду. Он чуть было не бросился в ноги Каткову и со всеми возможными клятвами уверял, что уж завтра в 10 часов утра (то есть в день самого отъезда) он всене непременно расплатится...

– Пароход отходит в час из Петербурга в Кронштадт... Смотрите же, – говорили мы, – мы вас опубликуем, опозорим!..

– Сохрани боже-с! – стонал Поляков. – Как это можно-с! Я не допущу себя до этого срама-с... Помилуйте, кто сам себе враг-с...

– Что мне делать? – сказал Катков: – ведь этот мошенник опять надует меня.

Я имел наивность думать, что в этот раз Поляков наконец сдержит свое обещание, и успокоивал Каткова...

Но Поляков не явился. В 11 часов мы, в совершенной ярости, вбежали в его лавку. В лавке его не оказалось... Дома его поймать было невозможно. Наша ярость пала на его приказчиков, которым, впрочем, это было нипочем. Они уже были приучены к подобным сценам.

И Катков должен был уехать за границу со ста рублями ассигнаций.

Мы провожали его до Кронштадта...

– Бога ради, спасайте же меня, – сказал он, обнимая нас при прощании: – высылайте мне скорей деньги в Берлин... Я могу умереть с голода, если вы меня забудете.

Как ни тревожило, однако, Каткова его безденежье, он был весел и счастлив мыслию, что через несколько дней будет в Западной Европе, которая так давно манила его к себе; что он вступит в самое святилище науки, в этот Берлинский университет, о котором он так давно мечтал. Он предавался разным упоительным фантазиям со всем увлечением и беспечностью молодости, забывая свое стесненное положение и предстоящую ему в Берлине дуэль, считая ее неизбежной.

Через несколько дней после его отъезда Поляков заплатил деньги, и мы тотчас же отослали их к Каткову в Берлин, с прибавкою денег от г. Краевского...

Я забыл сказать, что еще за год до этого, весной 1840 года, останавливался на несколько дней в Петербурге, проездом за границу, Константин Аксаков.

Он на другой же день после своего приезда пришел ко мне.

После объятий и крепких рукопожатий я спросил его:

– Надолго ли вы к нам, Константин Сергеич?

– Нет, нет... – отвечал он, – зачем мне оставаться здесь?.. Вы знаете, что мне противен ваш Петербург... Я послезавтра уезжаю за границу. Мне просто душно здесь. Ваш Петербург... точно огромная казарма, вытянутая в струнку. Этот гранит, эти мосты с цепями, этот беспрестанный барабанный бой – все это производит подавляющее, гнетущее впечатление... Лица какие-то не русские... Болоты, немцы и чухны кругом. Нет, сохрани боже оставаться здесь долго!

Когда мы вышли вместе с Аксаковым на улицу, он с недоброжелательством начал поглядывать на все: на дома, на людей, встречавшихся нам; его раздражал гром от экипажей, движение на улицах... И как будто для того, чтобы забыться и отвлечь свое внимание от всего этого, он начал смотреть вверх, на небо.

Небо было ясно, одна только небольшая тучка пробежала по синеве...

Аксаков схватил меня за руку, остановился и начал с жаром декламировать:

Последняя туча рассеянной бури,  
Одна ты несешься по ясной лазури... и т. д.

Он продекламировал мне все стихотворение, не замечая ничего и никого, а около нас уже образовалась толпа с ироническими улыбками.

Когда я обратил на это внимание Аксакова, Аксаков печально покачал головою.

– Я забылся, – сказал он, – я думал, что я в Москве. У нас нисколько не кажется странным, если человеку вздумается прочесть стихотворение, идя по улице. А у вас, верно, это не принято, оттого эти господа и обступили нас. В Москве широта, простор, свобода во всем, а здесь...

И он продолжал на эту тему, прибавив в заключение:

– Бога ради, извините меня, может быть я скомпрометировал вас?..

Аксаков думал пробыть с год за границей, но пробыл в Германии, кажется, не более четырех месяцев, страдая тоской по Москве и порываясь к родному очагу, без которого жизнь была для него невозможна.

Европа не произвела на него приятного впечатления; он возвратился в Москву еще более яростным москвичом, чем был до своей поездки, и скоро сделался ожесточенным противником Запада и одним из самых фанатических представителей славянофилизма.

Ходило множество забавных рассказов из заграничной жизни Аксакова. Я помню один, справедливость которого, смеясь, подтверждал сам он.

На углу одной из берлинских улиц Аксаков заметил девочку лет 17-ти, продававшую что-то. Девушка эта ему понравилась. Она всякий день являлась на свое привычное место, и он несколько раз в день проходил мимо нее, не решаясь, однако, заговорить с нею...

Однажды (дней через девять после того, как он в первый раз заметил ее) он решился заговорить с нею...

После нескольких несвязных слов, произнесенных дрожащим голосом, он спросил ее, знает ли она Шиллера, читала ли она его?

Девушка очень удивилась этому вопросу.

– Нет, – отвечала она, – я не знаю, о чем вы говорите; а не угодно ли вам что-нибудь купить у меня?

Аксаков купил какую-то безделушку и начал толковать ей, что Шиллер – один из замечательнейший германских поэтов, и в доказательство с жаром прочел ей несколько стихотворений.

Девушка выслушала его более с изумлением, чем с сочувствием.

Аксаков явился к ней на другой день и принес ей в подарок экземпляр полных сочинений Шиллера.

– Вот вам, – сказал он, – читайте его... Это принесет вам пользу. Вы увидите, что, независимо от таланта, личность Шиллера – самая чистая, самая идеальная, самая благородная...

– Благодарю вас, – произнесла девушка, делая книксен, – а позвольте спросить, сколько стоят эти книжки?..

– Четыре талера.

– Ах боже мой, сколько! – наивно воскликнула девушка. – Благодарю вас... Но уж если вы так добры, так лучше бы вы мне вместо книжек деньгами дали...

Аксаков побледнел, убежал от нее с ужасом и с тех пор избегал даже проходить мимо того угла, где она вела свою торговлю.

\* \* \*

Ненависть к Петербургу, как читатель уже видел, питали не одни московские славянофилы, а и москвичи-западники, как, например, Корш и Кетчер.

Надобно было посмотреть на бедного Кетчера, когда он вздумал было переселиться в Петербург, по совету своего брата, на службу в Медицинский департамент! Кетчеру была

необходима жизнь нараспашку, в каком-нибудь маленьком деревянном флигельке с садиком или по крайней мере с палисадником, в котором бы он мог копаться запросто в халате: садить огурцы и подсолнечники; вести небольшое хозяйство, иметь небольшие запасы, – для этого требовались различные чуланчики, небольшой отдельный погребок и тому подобное...

В Москве он легко пользовался всеми этими удобствами: сохранял кислую капусту до осени и угощал среди лета друзей своих жирными селянками; по утрам он беспрестанно переходил от своих гряд с огурцами к переводу Шекспира и от Шекспира снова к огурцам; после раннего обеда отправлялся куда-нибудь за город к приятелям и собирал дорогой еще иногда грибы, проходя через какой-нибудь лесок, а вечером кричал и хохотал на вольном воздухе, разливая шампанское... После такой привольной, размашистой жизни он вдруг очутился в тесной квартире огромного петербургского дома, по крайней мере с 4000 обитателей, на самом верху: грязная лестница, ни одного чуланчика, ни одной травки на вымощенном дворе, – все как-то узко, тесно... и приятели – люди небогатые и расчетливые, у которых шампанское не появляется всякий день?.. Ни голосу, ни движениям, ни размашистым привычкам нет никакого простора.

Кетчер изнемогал в такой жизни, стонал по Москве и гремел проклятиями против Петербурга... По его словам, в Петербурге ничего даже нельзя было достать порядочного: и говядина хуже московской, и вино скверное, подмешанное, и шампанское поддельное, и сигары никуда не годные.

Белинский, который, напротив, симпатизировал с петербургской жизнью, часто подсмеивался над Кетчером и любил представлять московскую жизнь в карикатуре. Кетчер выходил из себя, защищая Москву, и поднимал такой крик, что Белинский затыкал обыкновенно уши и умолял Кетчера замолчать.

– Ведь тебя не перекричишь, бог с тобой, я со всем согласен... – говорил Белинский, улыбаясь.

Кетчер никак не мог примириться с петербургской жизнью; тоска по Москве увеличивалась в нем с каждым днем... и при первой возможности он переселился в Москву. Еще до сих пор с ужасом вспоминает он о своей петербургской жизни и не шутя уверяет всех, что в Петербурге ни за какие деньги не достанешь ни говядины порядочной, ни настоящих гаванских сигар, ни настоящего шампанского...